Мои вечера

Борис Изюмский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вниманию читателей предлагаются неизвестные массовому читателю мемуары Бориса Васильевича Изюмского. Это одни из последних его рукописей. Они позволяют глубже понять писателя и педагога Изюмского как человека. Отдельные фрагменты этих мемуаров («Как доктор Вэнь вылечил меня», «„Шпионы“ в украинском хуторе», «Из истории „Алых погон“») публиковались в газете «Кадетское братство».

Настоящая публикация подготовлена сыном Александром. Орфография и пунктуация — авторская.

- Борис Изюмский
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6

Борис Изюмский
Мои вечера

Дарю сыну Александру

(Детали жизни)

И если день погас —
Я буду песни петь
В вечерний час.

З. Гиппиус

Начато в июне 1982 г.

Пока литератор не стар, и печатается, и полон новых замыслов, его не тянет писать воспоминания — успею. Но вот мой сын Александр, историк, написавший диссертацию о русских мемуарах XVIII столетия, — всё чаще стал «нажимать» — напиши мемуары. А тут ещё пошли разные осложнения с напечатанием новых моих книг (запреты Госкомиздата, необъективное рецензирование, подвохи заклятых друзей). И так как не писать не могу — без этого нет жизни — то и решил «не простаивать» и заняться мемуарами.

Не будучи значительной звездой на литературном небосводе, я, тем не менее, встречался с самобытными писателями, крупными величинами. Чаще всего это были встречи «по касательной». Я никогда не лез в приятели к знаменитостям, даже избегал их, но впечатления некоторые всё же накапливались. Вести эти записки решил не на виду у типографского станка, а для сына, для внуков, для тех, кто будет интересоваться нашим временем. Тем более что записки будут носить не чисто литературный характер, а расскажут о том, что я видел и пережил за 6–7–8–9 лет своей жизни. В этих записках не будет последовательности, но они будут предельно правдивы.

* * *

Я не однажды думал: вероятно, каждому человеку любопытно

было бы знать свое генеалогическое древо, проникнуть в глубь веков. Какие неожиданности его бы подстерегали там! Вдруг оказалось бы, что его предок во времена Ивана Грозного был опричником, а в петровские времена стрельцом или, может быть, ближайшим сподвижником Кондрата Булавина.

Мне удалось проникнуть в свою родословную всего лишь полуторавековой давности, а может быть, и того меньше. Прадед — Иван Иванович Изюмов из города Изюма — был чумаком, возил соль и сушёную рыбу на дальние расстояния. Судя по крохотной фотографии, как-то случайно оказавшейся у меня, это был кряжистый бородатый мужик с глубоко сидящими глазами. А дед — тоже Иван Иванович — водил конские табуны в царицынских степях. Было ему 99 лет, когда соскочил он с коня, поглядеть что там такое с задним копытом? Конь ударил деда копытом в висок, и на этом кончился его век. Был дед из царицынских казаков (они носили зелёные лампасы), достатка, очевидно, небольшого, но сыну Васе всё же гимназическое образование дал.

Уже в зрелом возрасте я случайно узнал, что в гимназии Вася руководил подпольным революционным кружком. А узнал так. В году 59-м выступал в Нальчике, в большой читательской аудитории. В перерыв подошел ко мне за сценой пожилой человек:

— Не хотели бы вы узнать некоторые подробности о своем отце в юности?

— Хотел бы.

— Тогда вот, возьмите. — Он протянул мне фотографию: Вася Изюмский в кругу гимназистов. — А вот это я, — показал на одного из сфотографированных мой новый знакомый. — И ещё хочу подарить вам…

Он протянул мне письмо. Оно было из Сорренто, адресовано Василию Изюмскому М. Горьким, который, прочитав его рассказ «На богомолье», писал, что у него несомненные литературные способности (позже отец писал и печатал рассказы)[1].

Себя я помню двухлетним: стою с бабушкой (у неё круглое доброе лицо, она в длинном чёрном платье) в царицынской церкви.

У мамы — Анны Борисовны — мать была русской, а отец евреем — резчиком кур в ритуальных целях в таганрогской синагоге. Девочка Аня оказалась ребёнком способным, окончила таганрогскую гимназию с золотой медалью, фамилия её — Парнох — занесена была на мраморную доску. Когда я учился в 7 классе таганрогской школы, моя учительница русского языка Мария Семёновна, зазвав меня к себе домой (комната в иконах),

благоговейно показывала тетрадь моей матери, тоже учившейся у неё (прекрасная каллиграфия, безупречная грамотность). «До сих пор получаю наслаждение», — говорила Мария Семеновна. Природа щедро одарила мать: она пела, рисовала, математику знала так же хорошо, как и грамматику. С моим будущим отцом Василием Ивановичем она познакомилась в редакции царицынской газеты, где отец работал корректором, а она писала театральные рецензии, печатала стихи, очерки.

У мамы уже была семилетняя дочь Соня, но муж оказался в бегах, а брак с Василием Ивановичем (моложе мамы года на четыре) произошёл месяца за два до моего появления на свет божий («прикрыли грех»). По тогдашним правилам брак могли разрешить только в случае, если отец мой согласится принять лютеранскую веру, на что он охотно пошёл. И в брачном свидетельстве его появилась печать — крест с рыбой — и подпись «пастор Шмидт».

Я родился буквально «в рубашке» — тонкой кожице-плёнке — и, двух лет от роду, вместе с родителями очутился в Таганроге.

Отец и мать удивительно не подходили друг другу. Он — сильный казачина, с ноздреватым носом, весь из мускулов, грубо витый. Она — хрупкая, болезненная, нежная, с высокой грудью, карими ласковыми глазами, каштановыми косами. Очень мягкая, интеллигентная. От отца я унаследовал здоровье, от матери — лирический склад души.

В отце меня всегда привлекало его физическое здоровье. Я хорошо помню его стройное мускулистое тело, долгие утренние зарядки с гантелями, обливания, обтирания, прогулки.

Вероятно поэтому, сосланный «на всякий случай» в Каргополь в 1928 году, он продержался тогда, делая на продажу табуретки. Снова арестованный в 37-м — держался пока мог. Вторая жена его мне рассказывала — ему выбили там зубы, перебили рёбра, он объявил голодовку и погиб лет 55-ти. В 1956 году его полностью реабилитировали и даже установили революционные заслуги.

Помню я себя и трёхлетним. Мы снимали в Таганроге домик во дворе угольного склада. Чёрная пыль лежала на пороге, на стёклах окон, а я бегал по двору с детским ружьём через плечо. А когда мне было года четыре, отец взял меня на базар. Вот ходим мы между повозок с вяленой рыбой. Один пожилой возчик спрашивает меня:

— Тебя как зовут?

— Борис…

Возчик достает рыбину, протягивает мне:

— Борис, до конца борись.

Любопытно, что эта сцена возникла перед глазами в самую

трудную минуту под Сталинградом. А позже — когда писал повесть «Ханский ярлык»…

А вот мне лет пять. Отец — в чёрном полушубке, отороченном серым каракулем по низу, вокруг рукавов впереди, в серой кубанке — везёт меня по Таганрогу в санках, раскатывая их на верёвке.

Хорошо помню дни пребывания Деникина в Таганроге. Штаб его помещался на Греческой улице, недалеко от каменной лестницы. И мы, мальчишки, бегали поглазеть на выходы генерала со свитой. У него моржовые усы, красноватый нос.

Потом деникинцы оставили Таганрог, взорвав склады с патронами у моря. С неба падали гильзы, и тетя Феня заставила окна, выходящие на Петровскую улицу, чугунными сковородками. По Петровской бегал одноглазый, кривоногий продавец газет с холщовой сумкой через плечо и кричал:

На столе лежит тарелка,
В той тарелке той пирог.
Николай пропил Россию,
А Деникин Таганрог.
Ох, яблочко, куда котишься.
К красным в рот попадёшь — не воротишься.
Ох, яблочко мелкорубленное.
А кадетская власть вся порубленная.

Таганрожцы ходили с красными бантами на груди.

Мне было лет шесть, когда отец оставил нас. Тогда это казалось необъяснимым. Мать воспитала меня в острой неприязни к нему, но, став взрослым человеком, я понял, что этот поступок отца был даже честным. Мать очень болела. Для неё физическая близость была невыносима. И отец, вместо того чтобы вести тайную жизнь, нашёл себе здоровую женщину и переехал к ней.

Правда, скверно, что нам материально почти не помогал. Жили на скудные заработки мамы от репетиторства на дому (преподавала русский язык, математику, физику). Моя мальчишеская жизнь шла своим чередом: играл в «казаки-разбойники», гонял в футбол пустую консервную банку, запускал змеев из слепленных миллионных бумажек.

Во дворе на Депальдовском переулке № 4 была своя компания, как и на улице: Федька-консул (сын греческого консула), Жорка (толстяк и обжора), Колька Мордвинов (сын генерала, сбежавшего от революции за границу). Во дворе жил сын музыкантов Баршай — Толька. Он любил барабанить на

пианино:

Что танцуешь, Катенька?
Кадрильку, папенька.
Где училась, Катенька?
В пансионе, папенька.
Где ты денежки брала?
У вас, папенька, крала.
Стыдно, стыдно, Катенька.
Извините, папенька.

Закончив песенку, Толька словно бы в бессилии опускал руки до пола, а головой припадал к пианино.

Вообще Толька не отличался джентльменством. Так однажды, когда подросток Лиза Бондаренко ехала на санях по спуску — от Петровской к Каменной лестнице, — он свалился на неё, за что был вызван на дуэль. Дрались «до первой крови» в тени от широкого балкона. Когда у Баршая потекла кровь из носа, он запросил мира.

Я себе сам сделал санки. Они были широкие, а полозья — из стальных полосок, снятых с низа маминой кровати. На этих санках, прозванных мальчишками за тихий ход «сметаной», съезжал по Каменной лестнице к морю. Санки набирали скорость, прыгали как лягушка от площадки к площадке, но однажды ездок врезался носом в лестницу, и с тех пор нос приобрел вполне греческую горбинку.

Во дворе жила ещё еврейская семья. Очень полная мама Сюня, её муж — маленький, худой сапожник Гриня. Когда он напивался, Сюня не пускала его в дом ночевать, и он почти выкрикивал на весь двор:

— Что ты меня муциис, что ты меня терзаис!

Сюня любила соседкам по двору рассказывать, как она в войну плыла пароходом из Одессы:

— А море было маринованным… а на мне было платье: гладкий перёд и волнующий зад…

Дочка Сюни, такая же толстая, как и мать, обращалась к матери на «вы», рассердившись же, кричала ей:

— Мама, вы корова!

Рядом с Сюней жило семейство журналиста Черток. Их домработница как-то сообщила всем во дворе, что её хозяин пишет «под певздонимом».

В городе процветал нэп. Торговал на Петровской мягкими франзолями владелец кондитерской Греппер, и его сын Вилли приносил нам их; делали мыло в своей домашней мыловарне на

Греческой улице братья Багдасаровы. В подвале бара танцевала голой красавица Паня с высокой причёской королевы, и мы, мальчишки, прижавшись к земле животами, заглядывали в окно.

В городском саду вечерами дирижировал духовым оркестром изящный, с длинными волосами итальянец Молла, собирая многочисленных любителей музыки. Это было время, когда таганрогские мальчишки упоённо увлекались звёздами футбола и кино. Таганрогская футбольная команда славилась на весь мир: вратарь Лёня Лужинский, вратарь Фисенко, левый крайний Петько были нашими богами. Чтобы купить билет на матч (приезжали команды Бразилии, Чили), мы, переехав «по хорде» Азовское море, резали камыши с бархатными коричневыми набалдашниками и продавали их по копейке штука. Не проходило вечера, чтобы мы не ходили в кинотеатр «Луч» или «Бондаренко». И вместе с городом распевали песенку:

Ваня, Ваня, я тебе не стенка,
Сведи меня в «Луч»
али в «Бондаренко».

Мы бредили Дугласом Фербенксом из «Знака Зорро», трюками восхитительного Гарри Пиля, прыгавшего с моста на крышу проходившего внизу вагона, хладнокровным ковбоем Вильямом Хартом, Конрадом Вейдтом — с огромными очами факира; подражали комикам Гарольду Ллойду в очках-колёсах, невозмутимому Бестеру Китону и, конечно же, Чарли Чаплину.

Таганрог запомнил приезды М. И. Калинина, А. В. Луначарского, а я хорошо помню день похорон Ленина: рыдали гудки паровозов, заводов. Было страшно, тревожно.

Мама продолжала болеть, поэтому я растапливал печь каменным углем, готовил обед, ходил на базар. Одевался плохо: в брюки, перешитые из брюк дяди Саши, в заячьей огромной шапке, зимой наползавшей на глаза. На базаре меня знали все торговки и уступали в цене: «Это пацан, у которого мать больна», — говорили они при этом.

Мама как могла старалась украсить мне жизнь: учила рисованию, в Пасху красила яйца шелухой от лука, катала орехи по досточке (если два ореха «цокнутся» — выигрыш), жгла бумагу на блюдце, чтобы посмотреть, какой силуэт получится на стене. Рано научила она меня читать и писать, поэтому шести лет был принят сразу во второй класс. Интерес к литературе у меня проявился рано. Как-то мама, отшлёпав меня, девятилетнего, как я считал несправедливо, куда-то ушла. В её отсутствие я выпустил домашнюю стенгазету, где критиковал за антипедагогический

поступок. Первое моё стихотворение начиналось так:

Весна идёт, ликует природа,
Радуясь ласкам ея.
И под сенью лазурного свода
Веет прохладою дня.

И дальше в таком же духе. Затем я стал писать пьесу, заканчивавшуюся, как мне казалось, великолепной фразой: «Ваше благородие — свинья в огороде! Что с нею сделать: прогнать или выгнать?» Потом начал сочинять роман, в котором описывал своих друзей по улице. В классе я был самым младшим и самым бедным, это сделало меня стеснительным, застенчивым, болезненно самолюбивым.

Учился вначале в 8-й школе (до 7 класса). Директор школы Дмитрий Павлович Дробязго (гвардейского роста и выправки) преподавал у нас географию. Часто приходил в подпитии. Мы не знали о его драме: красавица-жена ушла от него к молодому человеку чуть ли не вдвое моложе его. Но широко пользовались в классе состоянием Дмитрия Павловича. Химию преподавала «Сова» с действительно совиными глазами, биологию — «Индюшка», которая за хорошие ответы и отменное поведение вечно называла меня «золотой мальчик», весьма этим смущая.

В 7 классе я сидел за одной партой с Левой Файном (позже он стал видным авиаконструктором), и немка «Ксюша» (по нашим наблюдениям, у нее был роман с преподавателем рисования «Козлом») называла нас Макс и Мориц — по именам двух непоседливых мальчишек из учебника немецкого языка.

В 8-м и 9 классах я учился в таганрогских школах № 16 и № 2. Здесь были свои интересные учителя. Чета Омельченко (Анна Михайловна и Юрий Михайлович) преподавала русский язык и литературу. Они устраивали диспуты «Положительный ли герой Дон-Кихот?» и всячески поощряли самостоятельность мысли. Физику преподавал Борис Петрович (как позже выяснилось, до революции он был жандармским офицером). Борис Петрович подбирал такие задачи, из которых явствовало преимущество крестьянина-кулака над бедняком, и как-то на уроке спросил:

— А надо ли кулаков ссылать в Сибирь?

Мне в 9 классе было 15 лет, а рядом со мной Павлику Бирюлину, Виктору Соколову, Соне Левиной, Вале Овчаровой, Савве Хмельницкому, Володе Фельдману, Серёже Богданову — уже лет по 17–18. У них уже были «любви», но от меня это было очень далеко. Когда я покритиковал соседу по парте Павлику

Бирюлину одну девочку за то, что она пришла в класс в прозрачной кофточке, через которую виднелся лифчик, он досадливо сказал:

— Ты это не понимаешь.

Математику у нас преподавал Виктор Фёдорович Смирнов, прозванный почему-то «Пуздоном» (может быть, за некоторый намёк на начавшийся живот?). Виктор Фёдорович носил пенсне, расхаживал по классу, пружиня на носках, по-мужскому поглядывая на ученицу — жгучую красавицу Ларису Ярхо. Он хорошо играл в теннис, был известным в городе филателистом и, когда приглашал к себе домой помощников из класса — проверять тетради, они изрядно ощипывали его коллекцию.

После окончания девятилетки я в 15 лет стал кормильцем семьи — мама была совсем плоха. Полгода таскал рейки и теодолит геодезической группе по триангуляционным съёмкам города Таганрога, а затем, приняв грех на душу, прибавил себе год (благо был высокого роста) и поступил на завод имени Сталина, делавший стаканы для артснарядов 76-миллиметровых орудий. Вместе с товарищем — длинным, вечно подбирающим брезентовой перчаткой содержимое носа, добродушным и добрым Сашей Мамышем — грузил вагонетки этими стаканами и возил их из термического цеха в третий токарный. Заработок по тем временам был хорош — 60 рублей в месяц — и мы с мамой ожили. Но особенно изнуряли работы в ночной смене. После неё сколько бы днем ни спал — всё равно хотелось спать.

Так как дома часов не было, а утром следовало идти на работу часа полтора пёхом, то ночью спал беспокойно и даже зимой бегал из дома за два квартала на Ленинскую улицу, посмотреть — который час. Наконец, купил ходики, но то и дело ночью зажигал спички — не проспал ли, и однажды устроил пожар: сгорело красное ватное заслуженное одеяло.

Когда меня поставили клеймить снаряды, а затем и за токарный станок — снимать грубую стружку — стал подумывать о продолжении учения. Сначала поступил в авиатехникум — не понравилось. Более года бегал вечерами на курсы чертёжников-конструкторов. Изучал технологию материалов, сопромат, детали машин. Получил даже удостоверение об окончании этих курсов, но это тоже не пошло. С шестого класса мечтал стать школьным учителем истории.

Однажды заводской комсомольский бог Серёжа Лошак — ярко-рыжий, с заячьей губой, — когда я зашёл к нему в комитет комсомола, разложил на столе путёвки в разные институты и щедро сказал:

— Выбирай!

Ещё за год до этого меня на заводе приняли в комсомол. В те времена не было в институтах конкурсных экзаменов, а принимали по путёвкам. Среди разложенных путёвок были: в архитектурный институт, геологоразведочный и одна — робко затерялась — в пединститут. За неё и ухватился.

На историческом факультете пединститута помещал в стенгазете фельетоны, подписывая их Каран Д'аш, в ростсельмашевской газете напечатал стихотворение «Счастливый» (в 34 году, мне тогда было 19 лет), а в «Молоте» — стихотворение «Серго».

Первый рассказ, тоже в студенческие годы, я написал о… Гавайских островах, принёс его в комсомольскую газету «Большевистская смена». Там сказали, что он «неплохо написан», но выразили удивление, почему же именно о Гавайских островах? «Вы там были? Вот Бунин, например, был».

Когда 1 декабря 1934 года был убит Киров, начались массовые аресты (иногда целыми группами) и исключения из пединститута. Появлялись и исчезали преподаватели. В это время в Ростове выпустил свой первый поэтический сборник Вартанов. Его пригласили на встречу в пединститут, а через месяц он был арестован как враг народа. Стали вспоминать: кто приглашал? Не вспомнили. А вот объявление об этом вечере-встрече писал я. Значит, «пособник врага». Да ещё кто-то написал анонимку, что у меня отец был «белым офицером» (он же никогда в армии не служил из-за плоскостопия).

Исключили из комсомола, института. Причём мой близкий друг Лёва Айвазов, секретарь институтского комитета комсомола, на мой панический вопрос «За что?!» ответил:

— Знаешь, лес рубят — щепки летят. В этом деле лучше перегнуть, чем недогнуть.

Психоз с перегибом был столь велик, что чудесный парень с нашего курса Виктор Петько, заболев манией преследования, бросился под поезд, а слепой студент Инчев — повесился.

Вскоре арестовали и Лёву Айвазова. К счастью для меня, в это время в передовице «Комсомольской правды» упомянули нелепое основание исключения, и меня восстановили и в комсомоле и в институте. На последнем курсе пединститута, двадцати лет от роду, стал я преподавать историю партии в вечерней школе взрослых № 1 при Ростсельмаше. Учениками были бородатые, семейные начальники цехов, мастера. А я — петушок — хорохорился. Однажды поднимает на уроке руку бородач, говорит застенчиво:

— Товарищ преподаватель, я был делегатом на шестнадцатом съезде партии, и там было немного иначе, чем вы рассказали.

Петушок извернулся:

— Вот хорошо! Участник съезда расскажет нам, как было.

Энергии хватало на всё: и забежать вечером на литгруппу при доме медработников, куда заглядывали писатели Бусыгин, Письменный, где читал свои стихи юный Солженицын; отправиться с группой летом на работу в совхоз «Гигант» или в Аксайскую МТС весовщиком и привезти оттуда заработанную пшённую крупу; и выступить в театре при обсуждении пьесы «Платон Кречет»; и закончить школу бальных танцев.

После окончания института попал преподавателем педучилища в село Петровское Орджоникидзевского края[2]. Преподавал не только историю, но и методику её преподавания, и Конституцию. По 10 уроков в день, так что стал даже чувствовать, что с головой происходит неладное. Веду… десятый урок, поздно вечером. И вдруг чувствую, что «отделяюсь от самого себя». Вижу себя со стороны, слышу как чужой свой собственный голос.

Я встревожился. Дело в том, что когда учился на втором курсе, сошла с ума мама (скорее всего, на почве климакса). Я возил её в почтовом неосвещённом вагоне в Армавир, в Харьков, но её нигде не принимали в психиатрическую больницу. На остановках поезда она вскакивала:

— Пойду в поле…

Наконец, в Харькове её приняли, но там она вскоре умерла.

Я вбил себе в голову, что «по наследству» тоже «спячу», и в Петровском пошёл к невропатологу, объяснил, что происходит со мной. Он прописал прогулки, сокращение нагрузки, и всё действительно прошло.

Вообще я, вероятно, склонен был к мнительности. Так, во время своих студенческих каникул в Харькове у сестры, начитавшись книги Фридлянда «За закрытой дверью», обнаружил у себя… сифилис, хотя к своим 20 годам женщину ещё не знал. Но это меня не смутило — мало ли что, им ведь можно заразиться и через кружку, и через бельё. Пока сестра была на работе, я нашёл платную венерическую поликлинику, заплатил 30 рублей за визит и предстал перед врачом. Это был старичок.

— Спустите штаники, — попросил он. — Сдвинув очки на самый кончик носа, посмотрел и сказал: — Лишнего сифилиса у меня для вас, молодой человек, нет. Купите зелёнку и смажьте этот прыщик.

Здесь же в Петровском, в местной крохотной газете, напечатал я то ли в конце 36-го, то ли в начале 37 года свой самый первый рассказ «Всё по-новому». Как это ни странно… юмористический. Рассказ о том как 90-летний дед по фамилии Бесштанный решил прыгнуть с парашютной вышки, а прыгнув —

переменить фамилию, — барская выдумка, оскорблявшая его род. Студентками у меня были деревенские девушки, лет 18–19, страшно смущавшие молодого учителя своими смеющимися глазами. Но, преодолев робость, я обучал их после уроков бальным танцам, ходил с ними на прогулки в лес, бывал у них в общежитии и всем этим вызвал недовольство своих пожилых коллег, считавших, что это «амикошонство» и «педагогическое заигрывание». Они вряд ли были правы: недавно я получил письмо от почти 60-летней учительницы, которая вспоминает «петровскую пору» как самую светлую в жизни своей и сокурсниц.

Но в памяти остались от Петровского и тягостные воспоминания 1936–1937 годов. Каждое утро, приходя в училище, узнавал, что ночью арестовали то директора, то завуча, то учителя. Почему-то ощущения страха не было, вроде бы всё это тебя не могло коснуться, хотя позже я узнал, что очень могло бы.

Дело в том, что в меня влюбилась учительница младшего класса высокая огневая Мария. А у неё был жених — кругленький, болтливый, как позже мне стало известно, секретный сотрудник НКВД. Когда я уехал из Петровского в Ростов, то через год-другой появился здесь и жених, ставший мужем, любитель шуток и присказок:

Будет тебе белка, будет и свисток.
Чёрт Дарвин, Дарвин, Чаплин и т. п.

Уже прощаясь, он мне шепнул в коридоре:

— Ну, счастье твое, что ты от Марии отвернулся, а то был бы сейчас далеко.

* * *

Собственно, я прожил несколько жизней: заводскую, студенческую, учительскую, военную, писательскую… О многих сторонах этих жизней времени моего написал в своих книгах, и нет резона повторяться. Но кое-какие подробности, детали, грани, так сказать, бытия я попытаюсь восстановить в этих воспоминаниях. Причём буду это делать не хронологически, а, если можно так определить, тематически: «Мои коллеги», «Интересные встречи», «О рецензентах» и т. д. Начну с запомнившихся литературных встреч, образов писателей.

О Шолохове

Представьте себе: раннее зимнее утро Ростова. По плохо освещённому Будённовскому проспекту бредёт одинокая, немного пошатывающаяся фигура плотного, невысокого роста человека. Вот он подходит к пожилой сторожихе у магазина. Она сидит в тулупе на ящике.

— Можно, мама, рядом с тобой присесть?

— Садись, сынок.

Сел. Пригорюнился. Долго молчал.

— Я, мама, полковник в отставке. И всё-то у меня есть. И деньги, и жена, и дети, и любовница. А на сердце — тоска. Разреши, я поцелую твою руку. Моя-то мама в войну погибла.

Он поцеловал натруженную руку и, пошатываясь, пошёл дальше, а женщину, уже когда почти скрылась фигура, вдруг осенило: «Да это же Шолохов!»

* * *

Писать мне о Шолохове трудно. Его роман «Тихий Дон» я люблю, а его самого как человека мало уважаю и всегда старался избегать встреч, чтобы окончательно не разрушить образ автора.

Вот звонит он мне по телефону: «Боря, зайди ко мне в гостиницу, я в Ростове — приехал покупать себе книжный шкаф. Секретаря-то у меня нет. Я сам охотник, сам и собака». Останавливался Мих. Ал. обычно в гостинице «Деловой двор» в одном и том же номере. Я не приходил, обычно отговаривался болезнью.

К нему в номер набивалось полным-полно литературной шушеры. Он часами цедил шампанское, заедая его папиросами «Казбек». При встрече со мной подходил, обнимал, целовал, но радости это не приносило, потому что не было уверенности, что он хорошо помнит, с кем целуется. Да и шокировала меня его матерщина, натуралистические рассказы о яйцах коня, отливающих радугой, о шишке на х… или что-либо в этом роде.

Однажды в моё отсутствие в этом номере кто-то (кажется, писатель Бахарев) начал поносить меня: «Лезет в литературные начальники» (хотя подобные желания мне были чужды). Шолохов решительно заступился: «Вы его не трогайте. Я его люблю. Как педагог он стоит всех нас вместе взятых. Я жду от него новых книг!»

Очень шокировала меня история со статьёй поэта Шемшелевича.

В 1955 году предстояло отметить пятидесятилетие Шолохова. Я, как редактор альманаха «Дон», заказал статью о нём

Шемшелевичу. Статья получилась очень хорошей. Но в гостиницу к Мих. Ал. пришёл К. И. Прийма, сказал, что «Шемшелевич не фигура», что он, Прийма, будет писать. И Шолохов позвонил в обком партии первому секретарю Киселёву и попросил, чтобы Шемшелевича не печатали.

А тут ещё в одной из донских станиц мне рассказали такую историю. Остановился Мих. Ал. вместе с женой Марией Петровной на ночёвку в этой станице (путь держали на Ростов). Пионерчики разведали об этом и послали к Шолохову делегацию с просьбой, чтобы он завтра утром перед отъездом пришёл к ним на пионерский костёр на 5 минут. К пионерам вышла Мария Петровна, выслушала их, сказала: «Сейчас спрошу» — и исчезла в доме. Через минуту возвратилась:

— Будет он у вас завтра в девять утра.

Можно себе представить, как дети готовились к этой встрече: стирали белые блузки, разглаживали галстуки. Утром ждут. В 9 нет, в 9.30 нет, в 10 нет. Идут к дому, где останавливался Шолохов, а хозяйка говорит:

— Он давно уехал.

Писатель Бахарев как-то показал мне фотографию: молодой Шолохов (ему тогда было года 32) сидит в сумерках на высоком деревянном пороге своего дома. Рядом с ним какой-то приблизительно его возраста человек с орденом боевого Красного Знамени на груди. Бахарев рассказал:

— Этот человек с орденом пришел к Михаилу Александровичу в 37 году: «Мне поручили убить вас, чтобы потом приписать это убийство врагам народа, а я это сделать не могу…»

Они тогда решили: подосланный пойдёт в Москву пешком и там всё расскажет. Приедет туда поездом и Шолохов.

Он тоже приехал, пошёл к Сталину, рассказал о том, что случилось, и добавил:

— Арестовали моего друга, секретаря Вёшенского РК партии… А мы единомышленники. Значит, арестовывайте и меня.

Сталин приказал Ежову доставить немедля в кабинет арестованного. Тот (поседевший, беззубый), увидя Шолохова, повалился на колени:

— Миша, прости! Меня били, и я наговорил, будто ты возглавляешь на Дону контрреволюционную организацию.

Из кабинета Сталина секретарь поехал в санаторий. А человек с орденом Красного Знамени где-то затерялся во времени и пространствах.

Как-то в кругу донских писателей Шолохов рассказывал: как их (его, А. Фадеева, А. Толстого) начальник политуправления армии Щербаков на фронт отправлял:

«Первым пришли к нему в кабинет Саша Фадеев и я. У Щербакова большой стол, мы сели в глубокие кресла впереди стола. Саша Фадеев, подперев рукой щёку, хмельно бормотал: „Маму надо любить… маму надо любить…“.

Вдруг с треском открывается дверь, на пороге появляется Алёша… В развевающемся макинтоше, с непокрытой головой. Глаза у него возбуждённо блестят.

— Братцы! — радостно кричит он, — какую я сейчас бабу видел! Грудью кирпичи можно ломать!

Саша же, не поднимая головы, всё продолжает бормотать: „Маму надо любить… маму надо любить…“

Щербаков, ошалело посмотрел на нас и… отпустил. До времени».

* * *

В своих отношениях со Сталиным Мих. Ал. держал себя независимо. Был такой случай, что Иосиф Виссарионович назначил ему свидание, а он за час до этого сел на поезд и уехал к себе в Вёшки, не пожелав встречаться.

* * *

В ночь с 20 на 21 февраля 84 г. Шолохов в 1.30 позвал жену:

— Маня…

Она подошла. Он сказал:

— Прости, что разбудил. Через 10 минут я умру.

Так и произошло. Он умер от рака гортани. Когда его клали в гроб, он походил на ребёнка. В нём осталось 45 кг. Похоронить себя он приказал во дворе возле их дома[3].

* * *

За довольно длинную литературную жизнь я встречался со многими коллегами. С кем-то становился поближе, кто-то проходил «по касательной».

Ленинградец Михаил Слонимский мне пришёлся по душе своей интеллигентностью, правдивостью. Я бывал у него в доме № 97 на Мойке, переписывался. В 1954 году на Втором съезде писателей СССР (где я был делегатом) Мих. Слонимский познакомил меня со своим другом ещё по «Серапионовым

братьям» — Константином Паустовским. Тот сидел в буфете Колонного зала и пил кефир. Внешне походил на неприметного счетовода.

Вообще странные вещи происходили во время этого съезда: если в зале выступал неинтересный оратор, коридоры заполнялись сотнями братьев-писателей. Но стоило услышать объявление, что сейчас выступит Валентин Овечкин, или Илья Эренбург, или Фёдор Гладков, как все из коридоров возвращались в зал. Гардеробщица недоумённо сказала мне:

— Никак не пойму, когда у них перерыв, а когда нет.

Был очередной «отток» из зала: выступал товарищ из Казахстана и все усилия свои сводил к тому, чтобы назвать имена всех товарищей по организации — не дай бог кого-то не упомянет. К концу заседания, как говорили в кулуарах, «те, кого упомянули, уж давным-давно уснули (дома), а кого не поминали — всё ещё томились в зале».

Так вот, был такой очередной отток. Мих. Слонимский подвёл меня в буфете к столику, за которым сидел Паустовский, и представил: «Это мой друг», а сам ушёл. Паустовский предложил мне сесть рядом с ним. Через пять минут мне было ясно, почему Константин Георгиевич никакой не лауреат: он говорил то, что думал, не заботясь о последствиях для себя. Паустовскому оказалось достаточно узнать, что я друг его друга, чтобы он тут же сообщил мне:

— Ненавижу софроновщину как явление. Как серятину, тянущую в литературу серятину.

В это время к Паустовскому подошла Вера Инбер и подарила ему свою только что вышедшую книгу «Как я была маленькая». Успел прочитать её автограф:

«К. Г. Паустовскому — прозаику, но поэту».

А Паустовский начал рассказывать мне:

«Когда строили Волго-Донской канал, я по командировке газеты „Правда“ приехал в ваши края… С жильём там было в те времена очень плохо. Но всё же „директор гостиницы“ — некоего сарая, раскрыв перед собой амбарную книгу, неторопливо записал: „Паустовский Константин Георгиевич, лауреат Сталинской премии“. А я ему говорю: я не лауреат… Тогда „директор“ сердито зачеркнул всю строчку: „Что ж вы об этом раньше не сказали? Нелауреатам местов нет“».

* * *

В кулуарах съезда временами страсти бушевали и

накалялись. На стене вывесили газету «Взирая на лица». Стоило только выступить не очень удачно Мих. Шолохову, как в стенгазете появилась карикатура: огромные, как небоскрёбы, тома «Тихого Дона», а рядом на крохотной трибуне Михаил Александрович. Сторонники Шолохова, став спиной к стенгазете и переплетя руки в локтях, никого не подпускали к карикатуре, а затем сняли её. Резким оппонентом Шолохова выступил тогда Гладков и участники съезда говорили, что он сначала шёл шолоховато, а потом гладково.

* * *

(Пишу в больнице — лёжа).

Хочу рассказать несколько подробнее о моём литературном крёстном отце Иване Дмитриевиче Василенко — чудесном детском писателе, книги которого вышли в 30 странах. Я уже писал статью о нём, это дополнение. Приехал Иван Дмитриевич в 1945 году в Новочеркасское суворовское военное училище (НСВУ) написать книгу очерков о суворовцах. Поселили его в бывшем кабинете начальника училища, и в углу дивана гость выглядел затерянно. У Ивана Дмитриевича очень, очень высокий лоб, вьющиеся волосы, тихий голос. Позже выяснилось, что Василенко знал по Таганрогу моего отца — Василия Ивановича, корректора. Это был литературно одарённый человек. Выслушав как-то мой рассказ «Элегия Рахманинова», Иван Дмитриевич сказал:

— Если бы я был редактором любого журнала, я бы его напечатал.

Отзыв этот был для меня драгоценен. Я дал Ивану Дмитриевичу дневники — записи Суворовских дней. Прочитав их, Иван Дмитриевич сказал:

— Вам, кто варится в этом котле, надо написать большую повесть, я же ограничусь книжечкой очерков.

Мы с ним очень подружились. Однажды он рассказал мне, как в (нрзб.) влюбился в девушку (точёная фигурка, нежный облик и голосок). Но вот несколько дней её не было на работе. Он узнал её адрес и пошёл навестить её. Она лежала в жару, была укрыта немецкой шинелью. Эта шинель показалась ему столь ненавистной (недавно он получил извещение о гибели сына на фронте), что больше он уже никогда не встречался с девушкой.

— А знаете, как я написал рассказ «Солнечные часы»? Пошёл после спектакля провожать артистку Н. Распустил фазаний хвост, говорю: «Назовите любую тему, и наутро я принесу вам рассказ». Мы в это время подошли к каменной лестнице, спускающейся к

морю.

— «Ну вот, — тоном шаловливой восхитительницы сказала актриса, — напишите об этих солнечных часах». Утром я принёс рассказ. Однажды мы с Иваном Дмитриевичем повстречались в Москве у Пушкинского сквера.

— У вас сейчас время есть? — спросил он у меня.

— Есть.

— Я хочу ввести вас в дом своих друзей Фраерманов.

У меня даже дух захватило от радости: «Боже мой, автор чудесной книги „Дикая собака Динго“ Рувим Фраерман… живой классик».

— Пойдёмте.

Иван Дмитриевич тоже любил «Собаку», но главная его любовь была редактор Фраерман — жена Рувима.

— Я привёз ей на днях свою новую повесть «Солнце всходит на востоке». Думал — шедевр. А она сказала — неудача, и доказала почему. Человек безудержного вкуса, самых точных оценок. Если вам это понадобится — смело приносите рукопись сюда.

Увы, я не последовал этому совету и, вероятно, поэтому выпустил немало посредственных вещей. И к себе и ко мне Иван Дмитриевич был безжалостен, если говорить о литературной работе. Как язвительны, уничтожительны оказались его пометки на полях моей книги о школьных учителях «Призвание». А встретив, опять-таки в Москве, сердито сказал:

— Ну, куда вы торопитесь? Мне надо торопиться, да я не разрешаю себе это. Вы присмотритесь, как психологически тонок Грин, как даёт пейзаж Паустовский. Мне пейзаж никак не давался. А вы работали в этом направлении?

Был Иван Дмитриевич очень больным человеком (у него не было одного лёгкого), но любил пофантазировать, как он станет путешествовать:

— Вот моряки Балтики прислали мне письмо, приглашают в гости на корабль. А что вы думаете — и пойду! Представляете, в открытом море?

Под конец жизни купил он себе «Волгу» и договорился со знакомым инженером Иваном Ивановичем, что тот час в день будет возить его по Таганрогу. Но вот нет почему-то Ивана Ивановича, а машина ждёт его у парадного Василенко (Чехова, 88). Тогда Иван Дмитриевич садится в машину на место рядом с местом водителя и сидит там часами. Бог знает, в каких далях за это время бывает он.

Местные таганрогские власти относились к Василенко плохо. Кто его знает почему? Это сейчас в Таганроге создана

мемориальная квартира писателя, а тогда… стыдно сказать.

В день 70-летия Василенко секретарь обкома КПСС Михаил Кузьмич Фоменко приехал вручать писателю орден «Знак Почёта». В центральной библиотеке имени Чехова собрались человек двадцать. А ведь знали о предстоящем! И всё это в городе вузов, техникумов. На дверях библиотеки кнопкой прикреплено от руки неряшливо написанное объявление, мол, будет вручение.

М. К. Фоменко пришёл в ярость, из дальней комнаты позвонил на квартиру первому секретарю ГК:

— Чтоб через полчаса был сам и полон зал народа! Позор!

В этот же вечер на квартире, даря мне свою книгу, только что вышедшую в «Золотой серии», усмехнулся грустно:

— Всё же «заполнили зал».

Встречи с Корнеем Чуковским

По моим наблюдениям, Корней Иванович был склонен к скоморошеству, клоунаде. Мы с женой часто отдыхали в Переделкине. Дом наш был напротив дома Корнея Ивановича, и он любил вечерами приходить к нам в гости. То в обличье почётного доктора Оксфордского университета (длинная чёрная мантия с широкими рукавами, плоская четырёхугольная шапочка). Выступал важно, задрав нос-цибулю. А то приходил по узкой вымощенной кирпичом дорожке, держа в руках палочку. Он так ловко крутил ею между пальцев, что казалось, перед ним вертится колесо. При этом на ходу немного приседал, словно коленки у него подламывались, помахивал направо-налево видимым только ему одному цилиндром.

Однажды сказал мне и Людмиле:

— Я многостаночник. В моём рабочем кабинете стоит пять столов у пяти окон. За каждым из них — своё дерево. Утром сажусь я за первый стол. Чтобы писать книгу о Чехове, мне надо видеть перед глазами пихту… Через час-другой перехожу за второй стол. За окном виднеется ёлочка… Значит, будет сказка. И так до обеда… Вот сейчас занялся переводом Уолта Уитмена.

— А он какое дерево потребовал?

Любил Корней Иванович разыгрывать комедии. Как-то девочка лет 18-ти принесла ему письмо от своей матери («кажется, где-то когда-то я с ней служил в каком-то учреждении»). Мать умоляла Корнея Ивановича написать письмо кинорежиссёру Герасимову, чтобы тот прослушал её дочь.

— Гм… гм… — озабоченно сказал Корней Иванович, — а как надо писать отчество Сергея Аполлинарьевича? Через два «п» или

через два «л»? Или всё по одному? — Затем он попросил меня: — Соберите на террасе дома коллег, кого сможете. — И продолжил комедию: — Что вы нам прочитаете? — спросил он у бледнеющей, краснеющей, почти теряющей сознание девочки.

— Если можно… стихи поэта Сергея Острового.

— Не знаю такого, — отмахнулся Корней Иванович, — а как насчёт басни?

— Могу и басню.

Замирая, умирая, прочитала она басню Михалкова.

Корней Иванович сказал: «Пройдитесь до опушки, а мы здесь посоветуемся».

Она пошла.

— Разве ж это басня? — вопросил нас Корней Иванович.

— Но при чём девочка? Она читала выразительно.

— Бесталанно, — сказал Корней Иванович, — бездарно.

— Будьте справедливы! — взмолился я.

— Мне не на чем писать, — ещё продолжал клоунничать Чуковский.

Я побежал в свою комнату и принёс Корнею Ивановичу лист чистой бумаги, ручку. Чуковский позвал претендентку. Что-то написав, протянул ей записку:

— Вы нас потрясли.

А я был потрясён его лукавством, комедианством.

— Привет маме, — вслед счастливой девушке крикнул Корней Иванович, а нам тихо сказал: — Ей-богу, не знаю — кто она?

Много лет спустя у к тому времени ставшей довольно известной актрисы я спросил:

— Что же чародей тогда написал?

— «На Ваш суд, — ответила она. — А я, Сергей Аполлинарьевич, ничего в этом не понимаю. Правда, коллеги мои за абитуриентку горой стали».

Июнь 1984 г. Пишу лёжа. Реанимация

Автор книги «Старик Хоттабыч» Лазарь Лагин однажды спросил:

— Как вы думаете, Борис Васильевич, сколько рецензий было в прессе на эту мою книгу?

В руках он держал её, только что получил из Персии (Ирана).

— Ну, сто, сто двадцать…

— Представьте, одна, да и ту написал мой ученик.

— Не верю!

— Придётся поверить. До Великой Отечественной войны стали печатать «старика» в «Пионерской правде». Отрывков восемь напечатали и «прихлопнули». Без объяснений. Уже после войны встречает меня редактор, говорит:

— «А ведь я вас в знаменитости вывел!».

— «Но вы запретили!».

Он поднял глаза к небу: «Бывают обстоятельства сильнее нас».

Рассказ пьяненького Семёнова, историка из древнего Новгорода

Слышал я, что Алексей Толстой страстный коллекционер старинных икон. А мне как раз одна семнадцатого века подвернулась. Ну, думаю, счастье подвалило. Повёз Толстому. Вышел он ко мне в коридор в турецком халате, посмотрел. Поцокал восхищённо языком.

— «Сколько?» — спрашивает. Я возьми и заломи цену несусветную, прямо сволочную. Ни слова в ответ Алексей Николаевич не сказал, только насупился, ноздри презрительно раздулись. Взял икону и понес её куда-то во внутренние покои. А через несколько минут служанка мне выносит на подносе заломленную сумму и… рюмку водки.

* * *

Выход в свет в Москве «Алых погон» был для моих коллег по НСВУ полной неожиданностью. Так, капитан Глущук, похожий на Наполеона, сказал на плацу:

— Согласитесь, товарищ капитан, что если бы любой из нас имел столько же свободного времени, сколько вы, он бы тоже написал и не хуже вас.

Училищное начальство стало усиленно отправлять меня в ночные наряды на пищеблок (на кухню) — знай сверчок свой шесток.

В Ростове проходило совещание политработников СКВО. Полковник из Москвы, обращаясь к собравшимся и желая их повеселить, сказал:

— А знаете вы, чем занимаются офицеры НСВУ от безделья? — Он сделал паузу: — Книги пишут!

В ответ раздалось подхалимское «хи-хи-хи».

Узнав об этом, я решил оставить военную службу, хотя мне только что присвоили звание «майор» (в 1950 году). Написал

рапорт: «В связи с желанием серьёзно заняться литературной работой…»

Вызывает меня в Москву генерал УВУЗа (Управление военно-учебных заведений) Василий Иванович Морозов — высокий, интеллигентный, с тёмно-седыми усиками.

— Товарищ майор! — говорит он не без горечи. — Мы, старики, уходим и уходим в отставку. Кто же вместо нас служить в армии будет? Я вам могу предложить две должности: либо быть при мне референтом по инспектированию особо важных специальных учебных заведений, либо стать редактором военно-педагогического сборника. Дадим вам в Москве двухкомнатную квартиру…

— Предложения ваши, товарищ генерал, очень лестны, но всё же мне хотелось бы уйти на серьёзную литературную работу…

Посуровел генерал и отправил меня на переговоры к начальнику отдела кадров Главпура генерал-полковнику Коровину — массивному мужчине с тремя складками на затылке и стрижкой «ёжиком». Дело в том, что к этому времени генералу Коровину написал письмо Ал. Фадеев с просьбой СП СССР отпустить меня на «вольные хлеба».

— Садитесь, товарищ майор.

Товарищ майор сел.

— Хорошо ли вы продумали свое решение?

— Хорошо, товарищ генерал-полковник.

— Не будете потом локти кусать?

— Не буду, товарищ генерал-полковник.

— А вы знаете, — решил он блеснуть своей эрудицией, — сколько раз Софья Андреевна переписывала «Войну и мир»?

— Знаю, товарищ генерал-полковник.

Между прочим в разговоре он упомянул, что его дочь учится на филологическом факультете и влюблена в «Алые погоны». И здесь меня осенила спасительная идея:

— Товарищ генерал, сегодня вечером, когда придёте вы домой, то скажете: «Доченька, я сегодня отпустил из Армии майора Изюмского, чтобы он дописал „Алые погоны“».

Видно, генеральское воображение так ясно сработало, что он увидел: вот дочка повисла у него на шее, поцеловала его и сказала: «Спасибо, папочка!», что сейчас, крякнув, он пододвинул к себе мой рапорт и написал резолюцию: «В запас».

Из истории «Алых погон»

Старший лейтенант Изюмский в восьмой раз («Война и мир»!)

переписал, перепечатал на машинке 200 страниц «Алых погон», законвертовал рукопись, надписал: «Москва, издательство „Молодая гвардия“» и отправил её…

В Москве ведь ни одной знакомой души. Жду-пожду месяц, два, шесть, год… Да был ли мальчик? Уже капитаном стал, как получил письмо: «Прочитали рукопись. Будем печатать».

Наивный человек, я не знал тогда, что после такого письма, если очень повезёт, то проходит года два, пока появится книга, а то три-четыре года.

Жду ещё год, полтора, два. Майором стал — как приходит бандероль. Распечатываю и глазам своим не верю: на обложке изображён какой-то замысловатый вензель, под ним надпись: Борис Изюмский, а внизу гриф «Молодая гвардия» и год 1950. Моё или не моё? Сколько лет прошло, раз шесть за это время вскрывал свои подобные бандероли, но это первое чувство… И совершенно мальчишеское желание сейчас же пойти в новочеркасский книжный магазин и посмотреть: хоть одна душа купит эту книгу? Кому-нибудь она нужна?

На Московской говорят: «У нас ещё нет, а вот в Ростове, в книжном магазине на Ворошиловском, видела своими глазами».

Иду к «Кругу», от которого машины выходят напрямую на Ростов. Голосую. Счастливый обладатель легковой машины (тогда их было очень немного), вероятно, не мог не остановиться: взволнованный майор… конечно же ему позарез в Ростов надо.

«Доскакали» до угла Ворошиловского и Энгельса. Действительно, на прилавке стопка моих книг. Моих! Кому бы подарить? Продавщице? И вдруг за спиной грубый мужской голос произносит:

— Сколько стоит Изюмский?

Я даже вздрогнул. Не успел посмотреть, что стою… 12 рублей. Обернулся и увидел первого в своей жизни собственного покупателя: здоровенного дяденьку, похожего на грузчика.

Ну ему-то зачем моя книга?

О Маргарите Алигер

Одно время вошли в моду встречи Н. С. Хрущёва (на его подмосковной даче) с наиболее видными писателями. И на этот раз там собралось человек двести. За Т-образным столом ближе других к хозяину сидела поэтесса Алигер — худенькая, длинноносая, с бусинками глаз.

Хрущев, разглагольствуя о чести литературы, вдруг сказал, обращаясь к Алигер:

— А вот с вами на войне я в один окоп не сел бы.

И тогда поднимается эта женщина. Лицо её гневно пылало:

— Вы забываете, что я ваша гостья, к тому же — женщина. И позволили оскорбить меня. Я не могу больше оставаться в вашем доме.

Она была в это мгновенье красива.

Высоко подняв голову, Маргарита Иосифовна покинула зал, из солидарности сопровождаемая Валентином Овечкиным.

В эту же осень мы сдружились с Алигер в ялтинском Доме творчества. Она оказалась умнейшим, душевным человеком и… отчаянной любительницей чая.

Вечерами Маргарита Иосифовна приглашала меня к себе в номер и потчевала душистым, мастерски заваренным чаем. Даже на книге своей подаренной написала: «В память о ялтинских чаепитиях». Об инциденте на хрущевской даче нами ни слова не было сказано, больше говорили о современной молодёжи. Но на съезде писателей членом Правления её не избрали. И когда я однажды во время вечерней прогулки с С. Сартаковым спросил его: «Как же такое могло произойти?», он и глазом не моргнув, «пояснил»:

— Досадное недоразумение… По недосмотру машинистки выпала из списка…

* * *

В 1951 г., уже после ухода из Армии в запас, уехал я поработать в ялтинский Дом творчества. Моим соседом по комнате оказался писатель Роман Ким, автор повести «Тетрадь, найденная в Сунчоне». Внешне он очень походил на корейца. Однажды Роман спросил меня:

— Как вы насчет стакана виски со льдом?

Так как я никогда в жизни виски не пил, то меня разобрало любопытство:

— А почему бы и нет?

Завязалась беседа. Роман одинок, никого нет у него на белом свете.

В застолье он мне рассказал свою историю. Он был нашим разведчиком в Японии, как Зорге. Но вот в… — м году его обвинили в шпионаже в пользу Японии, отозвали и приговорили к смертной казни. Сидит в камере-одиночке, ждёт своего конца.

«Комната раза в два больше этой. И вдруг её стали заполнять аппаратурой. Что такое? Оказывается, началась война с Японией, а я знал шифры, аппаратуру как никто другой. Кончилась война,

меня помиловали, наградив за боевые заслуги орденом „Красной Звезды“».

Он налил себе ещё стакан виски, бросил в него ледышки.

* * *

Там же в Ялте сблизился я с писателем Григорием Медынским. В его внешности было что-то от священника, да он и происходил из духовенства. Фразу о депутате как «слуге народа» переделал по-своему — «не слуга, а часть его». Правдолюб, максималист, он в это время заканчивал свою «Трудную книгу» — о молодых преступниках-заключённых. Никто не хотел её печатать, уж больно остра, и вдруг нашёлся смельчак Политиздат. Книга имела колоссальный успех, как и его пьеса «Преступление и наказание Антона Шелеста». Мы часами говорили с Медынским на темы воспитания, находя много общих оценок, он об этом и в автографе написал.

Вообще «ялтинские посиделки» в памяти остались на всю жизнь. Вот Виктор Шкловский с головой, похожей на огромный бильярдный шар, говорит:

— Я зашёл к нашему ангелу смерти, спрашиваю его: сколько положено на мои похороны? У меня сейчас денег нет, давайте половину, и мы квиты.

Это он на бракоразводном процессе воскликнул:

— Любовь не судят!

Возле крыльца стоит, опираясь на костыли, одноногий, в кожанке Вадим Собко, похожий на аиста, кричит мне:

— Пан полковник, поехали. Хлопнем по маленькой.

В последний день войны этот красавец нарвался на мину и лишился ноги.

А вот сцепились в моей комнате бородач Юлиан Семёнов, только что изъездивший наши лагеря в поисках своего невинного отца, и тишайший, прилизанный Анатолий Кузнецов.

— Партия целиком может ошибаться! — рычит Юлиан, теребя бороду.

— Поклёп, — не соглашается будущий господин Анатоль, что бросит родину, жену, мать, беременную любовницу, — партия всегда права.

* * *

Комичный случай произошёл здесь с Мариэттой Шагинян.

Ялтинская студия готовила впрок фильм о Мариэтте к какому-то её юбилею. Сценарист, вопреки совершенно несентиментальному характеру Шагинян, заставлял её кормить у озера лебедей и поглаживать пушистую кошку. Наконец, терпение у Мариэтты лопнуло. Она схватила кошку за хвост и подержала её вниз головой. Кошка от неожиданности поцарапала её. Я увидел Мариэтту, бегущую от озера к дому с воплем:

— Она бешеная!

Как-то Мариэтта Сергеевна спросила у меня строго:

— Борис Васильевич! Что вы там делаете в своём Ростове?

— А что такое, Мариэтта Сергеевна?

— Да ведь императрица Екатерина дала навечно указ нахичеванским армянам, а вы ликвидировали Нахичевань, вместо этого назвали этот район Пролетарским. Да какое же вы имели право?

Одно время Мариэтта Сергеевна хотела купить домик и поселиться в Ростове. Здесь когда-то жили её родители, здесь начала она в газете свой первый роман («Месс Менд»). Пыталась найти на Армянском кладбище могилу родителей: помнила, что на ней росли два ясеня. Но кроме пеньков, ничего не обнаружила. Дала срезы на анализ — нет, не ясени это. Так с переездом дело и застопорилось.

— И потом, там у вас опасно для жизни… Ведь Гарнакерьян живёт, — шутливо добавила она.

* * *

Я бы не сказал, что со Львом Кассилем у меня были дружеские отношения, но что они были дружественны — несомненно. Он зазывал меня в Москве к себе в гости, дарил книги, написал очень хорошую рецензию в «Культуре и жизни» на повесть «Лёшка» — «С маркой на вырост», в своем выступлении по радио нашёл добрые слова для «Алых погон». Квартира его в Москве — рядом с МХАТом. Лев Абрамович был женат на дочери знаменитого певца Собинова, драматической актрисе. Так я понимаю, жил в его квартире. Старомосковское сооружение, столовая, например, огромные комнаты без окон с абажуром «в три обхвата». За стол усаживалось человек по 10–15, и главенствовала здесь бабушка, половником разливавшая первое по глубоким тарелкам.

А какой бедлам творился в кабинете Льва Абрамовича! Горы даренных ему книг, царство рукописей. И десятки телефонных звонков. Из части их мне стало ясно, что Лев Абрамович

изрядный модник: он собирался на футбольный матч в Лондон, по этому поводу заказал себе костюм и теперь уточнял портному: какие шлицы делать? О своей работе членом редколлегии «Литературной России» сказал мне: «Хотя бы иногда удаётся помочь хорошему человеку».

Видно, гордился званием член-корреспондента Академии Педагогических наук СССР. Но когда в книжке, подаренной мне, обнаружил, что его там назвали академиком — добросовестно исправил ошибку.

* * *

А вот с Хаджи-Муратом Мугуевым мы были близкими товарищами. Насколько я понял, он в гражданскую войну перешёл на сторону Красной Армии, был командиром сотни. Позже написал роман «Бурный Терек», а ещё позже детективный роман «Кукла госпожи Барк» (его ставили во многих театрах как «Талисман»). На мой мальчишеский упрёк, что серьёзный писатель разрешил себе «сбиться на детектив», сердито сказал: «Жанр как жанр, дело ведь в том, как написано! А без „Талисмана“ (здесь мне пригодилось многолетнее пребывание в Тегеране) не было бы у меня квартиры, в которой мы сейчас сидим».

Дружба наша началась с того, что он мне прислал добрый отзыв об «Алых погонах». Поссорились мы из-за сущего пустяка. Я как-то сказал, что хотел бы побывать на встрече, устраиваемой Хрущевым на его даче. Хаджи-Мурат рассердился, написал мне гневное письмо, я обиделся… (Вот бывает и так.)

Хотя нет, я упрощаю. Дело в том, что Хаджи-Мурат ненавидел пресмыкательство, в моем желании усмотрел именно его. «Вы хороший писатель, но такое желание я вам не прощу».

Незадолго до смерти Хаджи-Мурат сделал мужественную операцию по поводу катаракты, но ослеп. Сын его Тимур работает редактором в издательстве «Советская литература».

С Леонтием Раковским у меня шла многолетняя, я бы сказал, шутливая переписка. Он меня величал «Изюмчиком», я его Левонтием. Только однажды письмо наполнилось гневом, когда Леонтий Иосифович обрушился на писания Валентина Пикуля. Здесь уж он оставил шутливый тон. Назвал книги этого писателя «жёлтой бульварной литературой», его патриотизм дешёвым, отношение к историческим фактам — возмутительно безответственным.

Прочной была у меня дружба с Михаилом Слонимским. Как-

то он сказал с горечью, когда я был у него дома:

— Я в блокаде. Сейчас у меня ни гроша! Но ведь стоит умереть, как издадут многотомник.

Как в воду смотрел!

* * *

Так как Павел Нилин писал совместно с Петром Сажиным, то злые языки написали эпиграмму:

У Павла Нилина одна извилина,
Да и та пересажена из ж… Сажина.

Но когда вышла книга Нилина «Жестокость», все заговорили об исключительном таланте именно Нилина. Это был взрыв правдивости и таланта.

В его характере были немалые странности. Так, например, в переделкинской столовой посуду грязную собирала девушка лет восемнадцати, явный дебил.

— Она меня возбуждает, вызывает желания, — заявил Нилин.

О моей книге «Нина Грибоедова» сказал: «Впечатление такое, что в разгар полового акта сильно постучали в дверь».

Сначала это воспринималось как пажество: хорошенький умный юноша готов сделать всё что угодно повелительнице. Но жизнь требовала трудного и серьёзного решения. Удивительной была способность приукрашивать предмет влюблённости, наделять его тем, чего в нём и в помине нет. Ординарные глаза оказывались неповторимыми, простоватый вид — воздушным, всё преображалось. Искривлённый пальчик вызывал умиление, локон возле уха — воспоминание об Испании и Кармен, весёлый нрав, конечно же, шёл от Украины.

* * *

Трудно представить осенние Дубулты без Алексея Арбузова.

Вот столовая наполнена обедающими. Через их ряды семенящей походкой идет семидесятилетний Арбузов в шортах, с полотенцем через плечо, деловой. А вечером в просмотровой комнате у окна смотрит футбольные матчи все подряд: знает фамилии игроков, кто из какой команды перешёл, и даже думает перейти, знает итоги игр десятилетней давности. О своих планах говорить не любит. Разве что мельком скажет: «Завтра лечу в Японию, там ставят мою новую пьесу».

И всё.

Копчёную рыбу любит отчаянно. Через всю Москву шёл к нам в гостиницу за ней (мы ушли в театр, а рыбу оставили коридорной).

Арбузов меломан. Он ночью идет в филармонию: всё той же своей быстрой, деловой походкой.

ВСЯКОЕ РАЗНОЕ

(записано, лёжа в больнице)

Как доктор Вэнь вылечил меня

В 1957 г. в Шанхае готовилось издание «Алых погон». Меня попросили написать обращение к китайским читателям, прислать фото. На седьмом или восьмом письме вдруг узнаю, что переводчик Чжан Синь, с которым переписываюсь как с мужчиной, это «по-вашему Надя».

Болезнь заставила меня надолго замолчать. Вскоре вежливая Чжан Синь спрашивает в письме: «Что с вами, дорогой друг?». Объясняю: «Страдаю почечно-каменной болезнью». «Надя» отвечает: «У нас есть знаменитый народный доктор Вэнь, я обращусь к нему». Оказывается, в начале 50-х годов в Китае отобрали из знатоков трав 600 человек, в течение полугода преподнесли им минимум медицинской цивилизации и затем выдали дипломы народных врачей с правом лечения.

Месяца через два получил я извещение с ростовского главпочтамта: прийти за посылкой. Вручают огромный холстяной мешок. Дома на дне его нахожу крохотный белый парусиновый мешочек, а в нём странные вроде бы травы или кто его знает что: белые кубики, срезы, веточки, колючки. Дело в том, что по просьбе Нади я посылал ей свои анализы, описание болезни (за 10 лет «родил» 25 камней-уратов). Теперь Надя написала мне наставления доктора Вэня («траву закипятить в воде, настоять до черноты, принимать 16 дней по трети стакана»).

Спрашиваю у знакомого уролога: «Принимать?»

Он в нерешительности, пожимает плечами:

— Да ведь, Борис Васильевич, что для китайца хорошо, то для русского может быть гроб с музыкой…

Но я дошёл до такой степени отчаянья, что рискнул. Принял первую порцию. Казалось, жизнь покидает тело. Прилёг. Не могу шевельнуть пальцем руки, впечатление такое, что на каждом из

них висит по гире. Так длилось минут 15. Затем жизнь стала возвращаться ко мне.

27 лет уже не «рожаю» камни, видно, что-то сделал Вэнь с обменом веществ. Повлиял на него.

Преисподняя в Риме

Утром мы с Людмилой пошли в римскую тратторию — позавтракать.

В зале пустынно. Людмила села за столик, а я, до того как подсесть к ней, стал посреди зала и начал с любопытством рассматривать роспись стены на морские темы (фрегаты, порт).

Я не заметил, что официант у меня за спиной открыл люк в винный погреб, как потом выяснилось, огромной глубины. На дно этой преисподней вели каменные ступени, каждая сантиметров в 40–50. Восхищаясь росписью, я отступил назад, и нога моя повисла над люком.

— «Назад!» — Людмила так пронзительно закричала, что я невольно остановился и ухватился за край ближайшего столика. Он закрыл собой люк.

Хозяин траттории, узнав о происшествии через гида, просил передать мне, что если даже я угодил бы в люк, то лечился (вот только вопрос: было бы от чего) за счёт его, хозяина.

«Шпионы» в украинском хуторе

Позднее лето 1951 года. Из печати стало известно, что враги совсем недавно забросили на Украину трёх шпионов. Двух уже выловили, а вот третий…

В этот украинский хутор мы приехали на рекогносцировку местности: нам надо было найти место для съёмок военной игры суворовцев. Режиссёр Николай Иванович Лебедев был доволен. Казалось, всё подходило как нельзя лучше: старый полуразрушенный мосток через речку, могучие заросли на берегу её.

Но вот на порог сельской рады вышел коренастый паренёк в тельняшке, строго спросил, кто мы? Особенно его заинтересовала моя персона: я был в костюме заморского покроя из тёмно-зелёного материала, на ногах у меня сложного плетения туфли.

— Вы здесь оставайтесь, — приказал «матрос» Николаю Ивановичу, — а вы — следуйте за мной.

В своём «кабинетике», обставленном снопами, хозяин

потребовал: «Докумэнты!»

Я протянул билет члена ССП (Союза советских писателей). «Морячок» долго изучал его. Затем поднял трубку допотопного, висящего на стене деревянного телефона и стал накручивать его ручку.

— Товарищ ТимошЭнко? — наконец, смог прокричать он. — Я и здесь, на своих владениях задержал одного СС… — делая паузу и наконец: — Пе. Говорит, киносъёмка будет. Ясно, товарищ капитан, Пусть что-нибудь конкретно сымут? У него и товарища нет сейчас акромя фотоаппарата при себе аппаратуры. Ну, нехай хоть что-нибудь снимут. Если не захочут, я заставлю.

Ясно, что товарищу Тимошенко нужны были конкретные улики.

— Ничего, если мост сымут?

Я улучил мгновение, выхватил свое удостоверение из рук блюстителя и постучал Николаю Ивановичу в окно, призывая его на помощь.

Гимн жене

Можно быть влюблённым по молодости, можно голову терять в страсти. Но сильнее таких чувств — преклонение души благодарной. Я предполагал в тебе самоотверженность, но не думал, что она в тебе столь безоглядна. Я предполагал, что ты способна, дабы спасти меня, на муку, работу, на самый тяжкий и долгий уход. Только теперь открылось передо мной величие твоей души. Нет, ты не ангелица — и вспылишь, и слово лишнее скажешь. И всё же ты весь свет мой. Это не лесть старца, которому молодость отдала себя. Это гимн человеку, которому до конца дней своих буду я служить верой и правдой. Отныне каждое мое дыхание принадлежит тебе, добрый поступок — тебе. Да будут благословенны дни, соединившие нас!

18 июня 1984 г. Реанимация.

ДОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ РОТА[4]

(1984 г. Больница)

Когда в апреле 1950 г. в Москве меня принимала в СП СССР комиссия (в ней было не более 15 человек, и голосование шло открыто), то председатель этой комиссии Леонид Соболев сказал об «Алых погонах»:

— Эта книга написана не по творческой командировке, а родилась жизнью.

Тогда в СП было 4500 человек (сейчас 10 800), но ощущение у меня такое, что вес СП был выше в ту пору. В ростовской организации я оказался восемнадцатым и входил в неё как в храм, фигурально выражаясь, оставив на пороге грязную обувь. Шутка сказать, такие имена!

Мне дали рекомендацию Василенко, Шолохов-Синявский, Петров-Бирюк. Ввели в Правление, сделали редактором альманаха «Дон» (вся его редколлегия состояла из меня и Андриасова). Прошло немного лет, и я сам стал давать рекомендации для вступления в СП. Из 16 моих рекомендаций (Сухановой, Костоглодовой…) о двух я жалею.

Во-первых, напрасно я дал рекомендацию Анатолию Загорному. Он был посредственным драматическим артистом, но напечатал две исторические повести («Каменная грудь» и «Ретивое сердце») и тем покорил меня. Однако дальше этого творчество не пошло: женился на москвичке, стал литературным чиновником в СП РСФСР.

Второй, мною рекомендованный, Михаил Андриасов оказался не художником. Бойкий журналист, он широко использовал давнюю дружбу с Анатолием Софроновым, то и дело печатался у него. Но если бы вы захотели найти у него хотя бы один яркий образ, одну художественную деталь — это вам не удалось бы. Зато амбиций полно, как и претензий на то, что он «ведущий». Мне глубоко антипатичен как человек, А. Тер-Маркарьян, но когда я нахожу у него в стихотворении строку: «Летняя ночь плыла на спине по Дону, вглядываясь в звезды», я понимаю — это художник.

Я не хочу брать на себя роль судьи над своими коллегами. Иные из них литературно способнее меня, лучше меня как люди. Но разве не вправе я давать хотя бы для себя оценки их труду, их человеческим качествам?

Однако начну с себя. Я честолюбив, борюсь всю свою литературную жизнь с этим пороком, но не всегда успешно. Я могу на собрании промолчать тогда, когда надо выступить. Я бываю вспыльчив, болезненно воспринимаю критику. У меня не хватает здоровой самоуверенности. Увлекаюсь порой нестоящим человеком — вижу талант и там, где его нет. Мои отношения с товарищами прошли сложные метаморфозы. Вот взять хотя бы поэта Александра Рогачёва. Он нравился мне своей прямотой, неподкупностью, но ряд его качеств оттолкнул меня от него. Во-первых, бахвальство. Его я терпеть не могу. А Саша любит поговорить на тему: какой он большой поэт: общерусский,

известный, самобытный. А потом он вдруг стал падок «на власть»: ему хотелось обязательно быть избранным в Правление, и чтоб «упомянули» в списке «ведущих», и хотелось менторски поучать меньшую братию, да ещё и с ортодоксальных позиций, которых ещё вчера не признавал как ограниченность. И кончился для меня Саша, да, вероятно, и я для него.

Но возвращаюсь к старой гвардии. Она не блистала образованностью (разве что Оленич-Гнененко), но была талантлива. Самородком оказался Петров-Бирюк. Поразительно не умел он, правда, и не хотел дорабатывать свои произведения. Дмитрий Иванович сам мне рассказывал, как привёз в Москву, в издательство «Советский писатель», для переиздания роман «Кондратий Булавин». Ему сказали: вот это надо доработать. Он поехал в Переделкино, там слово в слово перепечатал две главы «Кондрата». Вырвав текст напечатанный, вместо него вставил то же, но отпечатанное на машинке. Отвёз своему редактору.

— Ну, вот видите, Дмитрий Иванович, теперь совсем другое дело, — довольно сказал тот.

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский шёл в своих книгах от автобиографии («Далёкие огни» — это его работа в молодости телеграфистом, «Волгины» — журналистика на войне). Очень, как автор, сентиментален, местами скучноват, тускл. В жизни бывал желчен, мнителен и обидчив, как малое дитя.

Особого разговора заслуживает Александр Павлович Оленич-Гнененко. По происхождению дворянин, высокообразован, в свое время сибирский левый эсер-террорист, он больше всего любил слово «принципиальность», хотя её-то ему частенько и не хватало. Вот идет «борьба с космополитами», прорабатывают поэта Леонида Шемшелевича (он восемь лет был в ссылке за то, что на смерть Горького опубликовал, несколько переделав, своё стихотворение, написанное когда-то «во здравие»). Больше всех в «разоблачительствах» старается Оленич: «заклеймить», «принципиально», «калёным железом»… Далее последовали в отношении Шемшелевича акции административные. Милиция отняла у него паспорт, и поэт, как палый лист, заметался по Дону. Но вот последовала, так сказать, общесоюзная амнистия, — космополиты оказались не космополитами, а врачи-убийцы не убийцами. Я стал свидетелем такой сцены. В комнату СП заходит Леонид Шемшелевич. По щекам этого почти пятидесятилетнего человека текут слёзы. На стол руководителю организации — Оленичу — он кладет возвращённый милицией паспорт. Александр Павлович вскакивает, бросается к Леониду Вениаминовичу, обнимает, целует его, дает ему стакан воды. Позже, когда тот ушёл, я спрашиваю у Оленича:

— Александр Павлович, когда же вы были искренни? Тогда, когда в этой же комнате требовали самых крутых мер в отношении Шемшелевича, или сегодня?

— Тогда я был мерзавцем, а сегодня я целовал своё сердце.

Очень непросто складывались у меня отношения с Анатолием Вениаминовичем Калининым. Талантливый человек. Но «со всячинкой». Сначала он ко мне даже благоволил. Так, будучи другом первого секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова, написал ему по собственной инициативе письмо с советом выпустить «Алые погоны» большим тиражом. Но вот послал я Анатолию Вениаминовичу рукопись второй части «Алых погон», долго ждал ответ и разразился гневным письмом, на что получил резонный ответ: «Не надо мазать дёгтем ворота, в которые думаешь войти».

Совсем испортила отношения статья Калинина в «Молоте» — «В третьем эшелоне». Главный режиссёр и постановщик трагикомедии «Борьба в литературе с космополитизмом» Анатолий Софронов дал из Москвы инструкцию — разоблачать их на Дону. Нашли двух. И вот Калинин в статье «В третьем эшелоне» начал поносить, как только мог, Браиловского и Шемшелевича. Прямо паразиты они на теле народном, враги.

Я встретил Калинина на Будённовском проспекте в тот час, когда в витрине «Молота» выставлена была для всеобщего чтения эта злополучная статья. Зашел в СП. Все двери распахнуты, будто покойников ногами вперед выносили. А на улице встретил и автора.

— Анатолий Вениаминович, — говорю, — от вашей статьи за семь вёрст разит черносотенными погромами.

Позеленел. Единственно, что нашёл ответить, было: «Мой лучший друг — Юдович».

— Негр в сенате, — ответил я ему.

После этого инцидента много лет у нас с Анатолием Вениаминовичем отношения были, мягко говоря, прохладные, и лишь в последние годы стали лояльны — даже книги стали друг другу дарить.

Да и от Закруткина я со временем отошёл. Ценил в нем широту русской души, гостеприимство, близость к людям труда, способность и охоту собственными руками сложить печь, привить в саду абрикосу к груше. Как писатель (довольно образованный, кандидат филологических наук), он весьма подвержен действию литературщины, но что особенно отвратило меня в нём, так это душа конъюнктурщика. Так, в статье строк в 120, напечатанной в «Литгазете», он умудрился… 15 раз упомянуть фамилию Брежнев. Как относится Виталий Александрович ко мне? При каждом случае объясняется в любви, как «к хорошему писателю», но,

будучи облечён немалой общественной властью (член редколлегии «Литературной России», секретарь СП РСФСР и т. д.), никогда и на грош не сделал мне добра (я имею в виду хотя бы слово одобрительное, сказанное всенародно). Наоборот, изрядно затормозил выход в «Дону» повести «Зелен-камень» («мало пота и крови народных»), хотя при встрече сказал об этой своей внутренней, для редакции рецензии: «Наплюй и разотри!»

Очень колоритна фигура Александра Суичмезова — нынешнего редактора журнала «Дон». Я бы Александра Михайловича назвал «донским Микояном в литературе». Ещё будучи в течение четверти века редактором «Молота», он из всех членов бюро обкома один-единственный пережил… пять полных смен обкома. Поразительны в этом человеке нюх и готовность сделать «чего изволите». Его друг Иосиф Юдович сказал мне о нём: «Если с вечера Александру Михайловичу скажут: ты должен убить такого-то ни за что, и он знает — хорошего человека, Суичмезов ночь промучается, а наутро… убьёт».

Осторожность, возведённая в десятую степень, вот принцип его жизни. Для него звонок сверху непререкаем. В общем, явление типичное, и я бы назвал его суичмезовщиной. А как боится он, как пресмыкается перед руководителем донской писательской организации! У того роман ещё в чернильнице, а место ему в журнале уже зарезервировано!

Во всем же остальном Суичмезов мягок, интеллигентен, доброжелателен, никогда автору впрямую не отказывает (хотя часто потом обещанное утопит в вате), влюблён в свой донской край, отличный краевед. Что-то он «унюхал» в моем «Зелен-камне» и два года тянул с публикацией этой повести, собирая с десяток рецензий (от доктора исторических наук из Академии наук СССР В. Буганова до члена редколлегии журнала «Дон» Ю. Жданова).

— Ну а как насчёт светлых личностей? Есть, конечно, и они, и их немало.

Благороден Гавриил Колесников — мученик, восемнадцать лет пробывший в ссылке и уже лет сорок живущий с трубкой в животе. Гавриил Семёнович правдив, бесстрашен, талантлив. А какой отзывчивой была Костоглодова, как спешила она на помощь людям, если чем-либо могла им помочь.

Начисто лишен властолюбия поэт Николай Скрёбов (он ушёл с поста зама руководителя организации: «Не смогу с вами работать»). Всегда честен поэт Долинский, ненавидящий «тайны мадридского двора», смеющий в глаза называть подлецов подлецами, на всю жизнь сохранивший армейскую зарядку (в войну был воздушным стрелком). Или медлительный,

обстоятельный, ненавидящий «устроительство», очень чистый поэт Анатолий Гриценко.

Видите сколько!

Сейчас в СП приходят молодые. Для меня они ещё непонятны. Молодые поэты Володя Фролов, Виктор Петров… Я не чувствую оригинальность их творческого лица, не знаю, чего стоят они как люди. Где новые Шолоховы, Твардовские? Да ведь такие бывают раз в сто лет. Да и цепь Кавказских гор состоит не из одного Эльбруса.

Да, вот чуть было не «пробросил» весьма колоритную фигуру — Михаила Дмитриевича Соколова. Он, так сказать, «фундаменталист» — роман «Искры» так на 200 печатных листов, роман «Грозное лето» — на 60. Большой любитель всех поучать, как следует жить, хотя сам далёк от безгрешности (эгоистичен, жесток). В нём поражает работоспособность — в 80 лет написать большой роман (далеко не лишённый крупных недостатков) это всё же, что ни говорите, пример, достойный подражания. Неприятны в Михаиле Дмитриевиче элитность, уверенность, что он — живой классик[5].

Полнейшими антиподами были при жизни поэты Венимамин Жак и Ашот Гарнакерьян. Первый — мягок, отзывчив, равнодушен к личной славе. Я уверен, что при жизни недооценён, как детский поэт особенно. Гарнакерьян — бунтарь, громовержец, «драчун», требующий место под солнцем, несомненно — личность взрывная. Бывал и коварен, и открыт до полного бесстрашия. Перессорился с кем только мог и в своей организации в Ростове, и в Москве, легко оскорблял людей, но в подхалимах никогда не ходил. Думаю, томик его стихов останется надолго.

Соткан из противоречий Пётр Лебеденко. Собственно, это громко сказано. Для меня он ясен: 100 % использования своего положения руководителя организации в личных целях.

Когда я однажды по какому-то общественному делу пошёл в обком к секретарю, Лебеденко выговаривал мне: как я мог это сделать без него. О нём говорят, что он «открывает коленками дверь в кабинет к первому». Не проходит года, чтобы он, т. е. Пётр Васильевич, не издал, не переиздал в Ростиздате своих листов 40. Тех, кто ему верно служит, он охотно поддерживает. Набрал аппарат из «верных людей», сам отсиживается на своей даче (под Шахтами) и лишь временами как «бог Саваоф» наезжает «для веского слова» в Ростов.

Но горе тому, кто не посчитает его «главным». Стоило Владимиру Фоменко проявить свою самостоятельность, как он немедля вывел его из Правления, и тот уехал на постоянное житье в станицу Старочеркасскую, купил там дом и занялся

сельским хозяйством. Стоило Николаю Егорову и Наталье Сухановой не признать его роман «классикой», как они были выведены из состава худсовета Ростиздата.

Я в этих «баталиях» оказался не на высоте. Не захотел «связываться», щадя свое здоровье, и поэтому был не тронут.

Лебеденко бывает беспощаден, если усмотрит «посягательство». Любопытен в этом смысле его приход к власти и история с Л. Григорьяном. Преподаватель латыни в мединституте Григорьян — рафинированный поэт, выпустил книгу «Перо». Вот здесь-то и решил Лебеденко показать свою ультраортодоксальность. Он сфабриковал «протокол обсуждения» «Пера» и, не щадя своего долголетнего редактора Н. Бабахову, которую вскоре сняли с работы, отправил один экземпляр «обсуждения» в Госкомиздат, другой — в обком партии. В «обсуждении» настаивалось на «аресте книги „Перо“».

Я бурно протестовал против подобного решения, ходил с защитой Григорьяна в обком, писал письмо редактору «Правды». Мол, весь «грех» этой книги в её архаизме, частом обращении к мифам. Тщетно! Книгу «порезали на лапшу». Дело было сделано. Бдитель Лебеденко пришёл к руководству. Везде расставил своих. Любопытно было обставлено само обсуждение: стенографистка, магнитофон. Я сказал тогда: «Это похоже на процесс над ведьмами», и вызвал яростный гнев. А затем копия обсуждения навсегда исчезла. И лента, и стенограмма.

— Да где же они?

— Найти не можем[6].

Правда, иногда в Лебеденко пробуждается его прошлое лётчика, и тогда он может произнести критическую речь в адрес обкома партии, в свой собственный, но такие минуты бывают всё реже, вероятно, утверждается мысль об исключительности.

А вот ещё один из «донской роты» — Борис Куликов. Казачина от чуба, усов, разбойничьего посвиста, мата до громкоголосости. На собраниях любит резать правду-матку, ни в каких правлениях участвовать не желает. Анархист из станицы Семикаракорской. В недавнем прошлом драчун, скабрезник, впрочем, остатки последнего и поныне остались. В прозе колоритен, лиричен, язык сочен.

Хочу рассказать об одном окололитературном человеке, главным образом потому рассказать, что уж больно он колоритен. Ну, кто из коренных ростовчан не знал Жорку Махоркина — благородного авантюриста? Высокий, спортивного склада, с огромными, как у факира, глазами, седой с молодости. Ещё до войны — король бильярда, живший за счёт выигрышей возле зелёного стола, боксёр, которого «нанимало» при командных

встречах то общество «Урожай» за отрез на костюм, то общество «Энергетик» за туфли. Кутила, бесшабашный «добрый малый».

Как выяснилось после войны, Георгия оставили с заданием в тылу у фашистов. Он оказался, например, «вышибалой» в доме терпимости для немецких офицеров в Пятигорске, позже был награждён нашим правительством медалью партизана, получил хорошую квартиру. Природа щедро одарила Махоркина, в том числе и некоторыми литературными способностями. В Москве вышло два его романа. Во втором из них он схулиганил: всем отрицательным героям дал внешности, имена и отчества здравствующих донских писателей, а главного злодея назвал (сделав его похожим чертами лица на поэта Гарнакерьяна) так, как по-армянски называется половой орган. Разразился скандал.

И вдруг новость: Махоркин стал миллионером. Как, откуда? Оказывается, ещё во время гражданской войны его папа — вовсе не Махоркин, а армянский негоциант бежал от революции в Париж. Здесь завёл ковровую фабрику, женился, стал богатым человеком. Но ни жену, ни дочь не любил. Как-то, уже после окончания Отечественной войны, приехал в Москву по коммерческим делам. Навёл справки о сыне в Ростове, устроил встречу с ним, прямо влюбился в него («Да ты же моя копия»), раз-другой вызывал его к себе в Париж, а перед смертью всё своё богатство завещал ему. Одних только процентов с капитала Махоркин ежемесячно получал… 30 000 рублей. Да вот беда, вскоре пал жертвой инфаркта.

notes

Примечания

1

Этот рассказ неизвестен. Возможно, имеется в виду повесть «Гимназия», которую В. И. Изюмский отправил в 1912 г. из Царицына М. Горькому на Капри. По словам автора, повесть представляла собой «беллетристические очерки о средней школе во время освободительного движения». Горький расценил рукопись как «вещь интересную, недурно написанную» и рекомендовал редактору журнала «Современник» Е. А. Ляцкому. Тем не менее повесть опубликована не была (см. Литературное Наследство, т. 95. М., «Наука», 1988, с. 521, 545–546).

2

Село Петровское входило в состав Ставропольского края, который с марта 1937 по январь 1943 г. назывался Орджоникидзевским.

3

Ср. с более ранними записями в дневнике, который Изюмский вёл (нерегулярно) на протяжении ряда лет: «6 мая (1965). Под всякими предлогами я стараюсь не встречаться с Мих. Шолоховым. Его „Тихий Дон“ я очень люблю, рядом с этим романом затрудняюсь поставить какой-либо другой из писателей ныне живущих, и мне больно видеть, что происходит с автором любимой книги. Собственно, что он создал за последние 20 (!) лет? Очень средний рассказ „Судьба человека“? Неудачную, по моему мнению, вторую часть „Подн. целины“?

Меня оскорбляет та непорядочная возня, которая происходит вокруг него. Эти истошные крики о гениальности, это стремление попасть в луч его славы, фимиам, который и ему-то самому совершенно не нужен. Мне передавали, что он как-то, в кругу писателей, сказал обо мне, что ждёт от меня многого и высоко ценит мои „Алые погоны“. Но и это не притягивает меня к нему, как к человеку. Не хочется быть в камарилье всех этих приседающих и заискивающих, жаль его погубленный талант. И тошнотворны славословия литературных импотентов, примазывающихся к чужой славе» (ГАРО, ф. Р-4379, оп. 2, д. 387, л. 28 об.).

«26 мая (1965). Чествовали М. Шолохова. Ему, видно, и самому весь этот трезвон страшно надоел. „Я состарился за последние три дня лет на 10, давайте уж сразу отметим мое 70-летие“.

На банкете шутил; отвечал генералу Плиеву: „Не хочу быть полковником запаса. Считайте меня постоянно действующим“. Но чувствуется по всему, что работает мало. Обидно! Прямо, до слёз обидно…» (там же, л. 30).

4

Замысел написать о своих коллегах по писательской организации возник у Изюмского давно. Вот как это отметил он в своём дневнике: «4 июня (1965). А что если попытаться дать штриховые портреты донских писателей? Полстранички, страничку о каждом, отметая субъективное отношение, давая какие-то детали, черточки. Начать хотя бы с ветеранов… Хотя при чём тут возраст, вероятно, правильно отдать предпочтение колоритностям» (ГАРО, ф. Р-4379, оп. 2, д. 387, л. 31). К этому замыслу Б. Изюмский вернулся только незадолго до смерти…

5

Ср. запись в дневнике: «28 марта (1965). На Правлении и бюро был предельно честный разговор с Мих. Дм. Соколовым (быть ли ему редактором журнала „Дон“?).

Вл. Фоменко: Миша! Подумай: ты перестал быть коммунистом, давно утратил ленинские качества. Как может молчать твоя совесть: в городе ещё многие туберкулёзные семьи живут в подвалах, а ты со своей Тамарой живешь в пяти комнатах, в 80 м². Шофёр журнала несёт за тобой на базаре корзину со снедью. Ведь тебя нельзя терпеть в партии. Ты в войну забронировал себя, лишь бы не идти на фронт, а после войны вы с Тамарой взяли из детдома ребёнка, и когда он стал называть вас папой и мамой — возвратили его в детдом. Как тебя уважать?

М. Соколов: Но он оказался сыном Ягоды!

Вл. Фоменко: Ты что же, коммунист, думаешь, что „гены врага народа“ переходят по наследству?

А. Бахарев (Соколову): Ты чванливый барин, считаешь возможным в журнале, тобою редактированном, печатать… 2000 стр. „Искр“, которые почти никто из чл. редколлегии не читал. Материал сырой, нуждающийся в большой доработке. Что ты делаешь? Ты пытаешься поставить себя над людьми, помыкаешь ими, поучаешь. А сам?

И дуб-Соколов, „железный канцлер“, как его десятилетиями называли, — заплакал.

Если это не деталь нового времени, то я не знаю, что такое деталь» (ГАРО, ф. Р-4379, оп.2, д. 387, лл. 27–27 об.).

6

Название приведено ошибочно: книга стихов Л. Григорьяна называлась «Дневник». Ср. запись в дневнике: «7 декабря 1975. После смерти А. Бахарева руководителем ростовской организации стал Пётр Лебеденко.

Ещё не „придя к власти“, он объявил повесть А. Немцева „Конец Шкандыбина“ вещью… антисоветской, и мне с трудом удалось спасти книгу. Затем объявил вредной повесть П. Шестакова „Страх высоты“ (по этой повести поставили фильм). В сентябре с. г. собрал Правление, чтобы приговорить к смерти книгу стихов Л. Григорьяна „Дневник“. Поставил магнитофон, посадил стенографистку, собрал большинство голосов. М. Соколов кричал о книге: „Под нож!“.

Книгу защищали Скрёбов, Игорь Бондаренко, Н. Суханова. Не помогло» (ГАРО, ф. Р-4379, оп. 2, д. 387, л. 37).